

Стивен Ловелл

Досуг в России: «свободное» время и его использование¹

Стивен Ловелл (Stephen Lovell)
Лондонский университет
(Кингс Колледж),
Великобритания

В своих ныне прославленных мемуарах о жизни русских фабричных рабочих в конце XIX в. Семен Канатчиков вспоминает историю, которую его товарищи по московской артели считали особенно смешной. Речь идет о ленивом работнике, жившем «*верст за двести, на этом месте, а именно в том, в котором мы, дураки, живем*», которого священник, по всей вероятности его хозяин, послал вспахать отдаленное поле. Работнику удалось отложить отъезд, выпросив раз-

¹ На всем протяжении текста (за редкими исключениями, продиктованными стилистическими обстоятельствами) я переводил *modernity* не как *современность*, а еще не совсем привычным для носителей русского языка словом *модерность*. *Современность* обладает исключительно темпоральной семантикой (обозначая то, что относится к сфере *настоящего*), тогда как *modernity* (resp. *модерность*), помимо темпоральной (Новое время), является категорией социологической, историографической (а также историософской и историцистской), обозначая некое особое состояние общества, прошедшего процесс *модернизации*. В русском языке рефлексия над модернизацией отразилась, как кажется, лишь в лексике, относящейся к сферам литературы, визуальных искусств и музыки определенной эпохи (*модернизм, модерн*). Однако разговор о модернизации в широком смысле (как и полемика с жесткой модернизационной парадигмой в социологии и историографии) неизбежно заставляет прибегать к хотя бы робкому словотворчеству. Следует также оговорить, что слова, выделенные курсивом и не являющиеся при этом цитатами, — это лексемы, употребляемые по-русски в английском оригинале статьи. В переводе я отделял эти слова курсивом от остального текста, пытаюсь отграничить язык объекта от языка описания. — *Прим. пер.*

решение сначала пообедать, чтобы проработать целый день. Покончив с обедом, он вновь привел тот же довод и получил от священника дозволение перейти напрямик к ужину. Еще плотнее набив свое брюхо, работник произнес фразу, на которую нечего было возразить: *«Да кто ж <...> после ужина работает, батюшка?! После ужина везде спать ложатся»* [Канатчиков 1932: 25–26].

У крестьян, ставших пролетариями, были очевидные причины считать этот рассказ забавным. Неприязнь вызывала фигура хозяина, властная инстанция, приобретающая черты то священника, то помещика, то владельца фабрики. Кроме того, шутка могла быть прочитана и как вариация на вечную тему: что случается, когда смекалка крестьянина-бедняка сталкивается с уважительной по отношению к обычаям глупостью. Однако сами механизмы подобного обмана заслуживают пристального внимания. Протагонисту удастся заполучить день сытного безделья, роскошь, недоступную Канатчикову и его товарищам на любой знакомой им работе, будь то на селе или на фабрике. В крестьянском сообществе труд упорядочен обычаями, которые никто из членов общины ни в коем случае не может игнорировать, не навлекая на себя неодобрения, и где поэтому не осмеливаются признаться в праздности; где у здорового человека нет даже надежды на то, чтобы найти законную причину, сколь бы остроумной она ни была, и не выйти вместе со своими товарищами утром на работу; где труд принимает верифицируемые формы, обладающие внешней выраженностью (крестьянин, не гнуший спину, по определению не может считаться работающим). Нерабочее время — главным образом многочисленные праздники крестьянского календаря — также строго регулировалось обычаем². Напротив, организующим принципом труда фабричного рабочего являлись не процесс или обычай, а производство, что требовало более тонко выверенного чувства времени. Официально или неофициально, у рабочего были возможности вступать с начальством в переговоры, хотя и при весьма серьезных ограничениях. Моральное порицание за опоздание на фабрику (даже если причиной его было похмелье) не являлось существенным. Однако экономическое возмездие следовало неизбежно: у отсутствовавших на рабочем месте урезали зарплату или заставляли отрабатывать в течение недели. Хотя рабочий был волен

¹ Борис Миронов продемонстрировал устойчивый рост числа народных праздников во второй половине XIX в., главным образом благодаря синкретическим верованиям русских крестьян (отмечавших и православные и языческие праздники) [Mironov 1994]. Конфликт между привычными религиозными праздниками и нуждами промышленности в российских городах вкратце освещен в [Zelnik 1994].

жадно поглотить завтрак, обед и ужин уже с утра, он не мог сослаться на обычай, чтобы тогда же и там же закончить рабочий день, а кроме того, рисковал потерять возможность оплатить завтрак, обед и ужин дня завтрашнего. Герой созданной в индустриальную эру *сказки* из воспоминаний Канатчикова успешно сопротивляется инструментальной логике общинного сельского хозяйства и раннекапиталистической эксплуатации, избирательно апеллируя и к той и к другой: движущей силой его риторики являются такие ценности, как рациональность и продуктивность, однако в качестве итога выступает крестьянский обычай. У него своя каша, ее он и ест¹.

Данный рассказ может послужить веселым напоминанием о невеселой реальности: у большинства русских, живших в XIX в., было очень мало времени, свободного от изнуряющего труда. Однако более занятный вывод, который можно сделать из этой истории, заключается в том, что способы труда предполагают способы деления и категоризации времени. Восторженная реакция артельщиков на рассказ указывает на то, что они хорошо понимали контраст между деревенскими и городскими, индустриальными трудовыми темпами; как и другие мигранты-рабочие этой эпохи, они чувствовали, что старые навыки и новые практики тянут их в разные стороны, и в целом находили гораздо менее четкие и удовлетворительные пути снятия этого конфликта, чем герой данного рассказа. Между тем обсуждения заслуживает и другое, более фундаментальное различие между протагонистом и аудиторией. Герой может отлынивать от работы, однако он, по всей видимости, не заполняет свое свободное время ничем, кроме еды и сна. Его жизнь состоит из труда и нетруда: время, проведенное не в поле, является простым ничегонеделаньем и никаким особым смыслом с точки зрения героя не обладает. Напротив, у коллектива, к которому принадлежал мемуарист, имелись различные способы заполнения времени, свободного от работы на фабрике (и еще до того, как Канатчиков стал «сознательным рабочим» и начал посещать собрания).

Чуть далее Канатчиков рассказывает о некоторых развлечениях

¹ Сюжет о попе-эксплуататоре и хитром работнике хорошо известен сельской народной культуре. См., например, записанную в Тамбовской губернии сказку «Попов работник» [Афанасьев 1985: 21]. Еще более раннюю версию находим в «Сказке о попе и о работнике его Балде» (1830), явившейся переработкой сказки, которую Пушкин слышал от своей няни Арины Родионовны в 1824 г. Текст, приведенный Канатчиковым, построен на традиционном материале, которому придан новый поворот. В старых версиях сказки работник обычно ненамеренно обманывает попа, но часто вынужден пойти на это из-за вероломства нанимателя. Работник не является ленивцем; он без труда может образцово выполнять свои обязанности. Более того, в версии Канатчикова работник напрямую апеллирует к индустриальной трудовой этике, говоря о необходимости не терять «драгоценного времени» — ход, немислимый в сказках, записанных Афанасьевым и другими фольклористами.

ях рабочего человека. Зимой, когда замерзала Москва-река, люди выходили на лед для кулачных боев с рабочими другой фабрики, возвращаясь домой «с фонарями и разбитыми окровавленными носами». Однако у них имелся и целый набор «культурных» развлечений». У артельщиков была подписка на бульварный «Московский листок», в котором они жадно читали репортажи о преступлениях, фельетоны и даже печатавшийся из номера в номер роман. Иногда по воскресеньям они посещали Третьяковскую галерею или Румянцевский музей. Тем не менее, городские развлечения регулярно дополнялись более традиционными. Артельщики испытывали особое пристрастие к зрелищу московских пожаров и всегда «сломя голову бежали» посмотреть на охваченное пламенем здание [Канатчиков 1932: 27]. Ритуальная выпивка — подчас до беспамятства — являлась почти обязательным элементом свободного времени; если были деньги, выпивать могли когда угодно, однако чаще всего — после получения двухнедельного заработка. Более константным, менее ограниченным во времени развлечением были разговоры и рассказывание историй. Рассказ, с которого я начал статью, был поведен унылым вечером накануне дня зарплаты, когда рабочим удалось подбить лучшего рассказчика артели, своенравного и сильно пьющего субъекта, на бесплатное развлечение.

Данный перечень поражает своей разнородностью. Интерес к произведениям искусства получил полное одобрение интеллигенции-защитницы *mission civilisatrice* (хотя у нас могут возникнуть сомнения относительно того, насколько визуальная восприимчивость рабочего соответствовала интеллигентскому идеалу). Чтение бульварной прессы можно рассматривать как знак погруженности в современную городскую жизнь, приспособленность к быстроте *faits divers*. Потребление канатчиковскими артельщиками алкоголя соответствовало жизненному стилю рабочего класса Европы конца XIX в., хотя и имело специфически русские корни¹. Драки также были старинной народной забавой, успешно перекочевавшей в города, приоровившейся к городским ритмам и ставшей элементом культуры низших классов. Другие формы развлечений еще более недвусмысленно указывают на недавнее сельское прошлое этих людей. Вкус к повествовательным клише в ущерб остро-

¹ Идея перехода от «традиционной» к «модерной» культуре выпивки представляется достаточно здоровой в качестве общей характеристики перемен, которые претерпевает потребление алкоголя рабочим классом в XIX в. И тем не менее следует более внимательно относиться к специфическому содержанию «традиции», а также к социальным и экономическим условиям, которые ее в значительной степени определяют. В случае России многое зависит от такой институции, как *кабак*: его экономической логики, местоположения, от того, кого и как туда нанимали [Christian 1990].

ую, а также страстный интерес к пожарам, который они разделяли со своими деревенскими друзьями и родственниками¹, свидетельствуют о том, что культурные корни этих рабочих — не городские.

Каждый из этих разнообразных типов деятельности предполагает не только особые культурные отношения с миром, но и свое собственное чувство времени. Так, кулачные бои совпадали со сменой времен года, т.е. с приходом зимы, который обеспечивал подходящее поле битвы на реке, а также означал, что время, проведенное вне дома, должно быть короче, но соответственно эмоционально интенсивнее. Хотя, читая газеты, рабочий узнавал о происшествиях, которые могли показаться экстраординарными на фоне привычной для него повседневности, само чтение газет в известном смысле он воспринимал в качестве неотъемлемой части своего городского опыта. Рассказывание историй являлось поистине повседневным занятием, которое снимало разрыв между рабочим и нерабочим временем. Выпивка была связана с базовыми ритмами фабричного труда (с днями выплат и «святыми понедельниками»). Пожары нельзя было запланировать заранее, однако пока длился любой большой пожар, это развлечение, вносящее элемент непредсказуемости в повседневную жизнь², явно заставляло забывать о всех прочих.

Таким образом, хотя Канатчиков и его друзья отличались от работника из приведенного рассказа в том, что называли время после работы своим собственным и обладали возможностями заполнить его способами иными, чем еда и сон, у них отсутствовала непротиворечивая общая система представлений, описывающая все те типы деятельности, в которые они были вовлечены вне работы на фабрике. Как и у западноевропейских пролетариев данной эпохи, их самым заветным желанием было сокращение рабочего дня; вопрос о том, чтобы больше получать, был существенным, но вторичным. Однако у них не было четкого представления о том, что они будут

¹ Джеймс фон Гелдерн отмечает сдвиги, которые претерпел в 1860-х гг. тип юмора, свойственный низшим городским слоям. Шутки и анекдоты, прежде являвшиеся прерогативой образованных людей, высмеивающих высшие классы, начали вытеснять из народной культуры непристойное острословие. Эти новые жанры стали возможны в значительной степени потому, что теперь у них появилась удобная мишень: «неотесанные» мигранты из деревень, чьи отточенные повествования казались бесформенными чудовищами на фоне острого и крепкого юмора горожан с большим стажем из низших слоев [von Geldern 1996: 377–378]. О смеси ужаса и восхищения, которые крестьяне испытывали перед пожарами, см. [Frierson 2002].

² К этому перечню следует добавить новые театры и карнавалы для народа, далеко ушедшие от старой традиции гуляний и весьма повлиявшие на возникновение различий между трудом и досугом у рабочих — вроде тех, которые состояли в канатчиковской артели [Swift 2002].

делать с избытком свободного времени. Канатчиков так прокомментировал сокращение рабочего времени на период трехдневных коронационных торжеств 1896 г.: *«После восьми часов работы у нас оставалось еще столько времени, что мы даже как-то не знали, чем его заполнить»*. Позднее, уже став политически грамотным человеком, он ретроспективно отметил освободительный потенциал постоянного уменьшения рабочего дня на своей фабрике с 11.50 до 10 часов: *«Правда, разумно организовать и использовать свободное время не многие в те годы умели и могли. Но и то уж было хорошо, что мы просто физически могли отдыхать и думать о предметах, не относящихся к нашей работе»* [Канатчиков 1932: 75–76].

В случае канатчиковской артели, как и в случае представителей любой другой профессиональной культуры, стоит задаться вопросом: до какой степени они наслаждались временем, свободным «от» работы, и до какой степени их время вне фабрики являлось «свободным» в абсолютном смысле? Как мы должны его называть — отдыхом, релаксацией, развлечением или досугом?

Теперь самое время развернуто прокомментировать «досуг» («leisure»), термин, вызвавший многочисленные дискуссии и размышления социологов. Досуг — это не работа, однако кроме этого он включает массу других вещей. Ленивый работник из рассказа отнюдь не наслаждается досугом, отправляясь спать с полным желудком. По мнению большинства людей, досуг предполагает определенную степень индивидуального выбора и самостоятельности в том, как использовать нерабочее время. Он представляет собой свободу от обязанностей, связанных с зарабатыванием на жизнь, и психофизиологических императивов, таких как еда, сон, покой, а также освобождение от обременительных и практически неизбежных нетрудовых обязательств (домашние дела, забота о детях, участие в работе местной власти (council meetings), посещения зубного врача и т.д.). Отсюда можно исключить и определенные публичные, в высшей степени ритуализованные, обремененные условностями и de facto принудительные формы культуры развлечений, вроде балов, парадов и других празднеств подобного типа. Таким образом, досуг часто представляется одним из важнейших атрибутов современной западной цивилизации.

На «возникновение досуга» в его современном научном понимании оказали влияние три социоэкономических фактора. Прежде всего, это новые структуры занятости, которые проводят гораздо более отчетливую границу между работой, с одной стороны, и развлечениями и забавами — с другой. Модерность совсем не обязательно предоставляет людям больше нерабочее

го времени, однако она подталкивает их к тому, чтобы рассматривать это время в качестве обладающего особым смыслом и ценностью. Фактором вторым является урбанизация — вкупе с большим количеством сопутствующих технологических достижений, таких как наручные часы, система освещения, аудиосредства, кинематограф, телеграф, телефон, поезда и велосипеды¹. Теперь люди полагают, что существует гораздо больше типов деятельности, которым можно предаваться в «свободное» время, а кроме того, они начинают более отчетливо осознавать то, как они контролируют это время (например, возвращаясь домой позже, уезжая на праздники, путешествуя дальше и чаще, более гибким образом планируя свою социальную жизнь). Кроме того, коммерциализация усиливает у человека ощущение его собственной инициативы — он начинает понимать, что может выбирать, как потратить такой максимально обезличенный товар, как деньги [Marrus 1974: 8–9].

Помимо указания на фундаментальное значение социоэкономических трансформаций, досуг в современной Европе (и, конечно, Северной Америке) часто рассматривается в качестве подтверждения существования и стимула для развития индивидуализированного «современного я». По словам одного из специалистов по английской истории конца XIX в., *«досуг стал больше чем противоядием от труда. Для некоторых он мог быть даже основным источником интеллектуального и эмоционального удовлетворения в жизни»* [Meller 1976: 252]. Другой ученый, пишущий об Америке той же эпохи, утверждает, что досуг следует трактовать как *«серьезное дело»* или даже как *«наиболее жизненно важную работу культуры»* [Gleason 1999: vii]. Эти утверждения являются в известном смысле верными для конца XIX в.; еще более обоснованными они оказываются для конца XX, когда культивирование подходящих навыков досуга стало неотчуждаемым правом, если не сказать обязанностью, современного гражданина и неизбежной частью его или ее социализации. Возьмем, например, учебники иностранных языков, пособия для европейских подростков, где разговорные навыки и словарные материалы, относящиеся к «свободному времени» и его использованию, неизменно занимают почетное место. Как убедительно отметил исследователь туризма в XX в., *«досуг вытесняет труд из центра современной социальной конструкции»* благодаря широко распространенному представлению о том, что *«жизнь сама по себе должна*

¹ Отметим, например, что Канатчиков, попав в Москву в возрасте шестнадцати лет, был поражен более всего уличным освещением. О состоянии московской городской инфраструктуры (в которой по европейским меркам не было ничего поразительного) см. [Писарькова 1998, гл. 5]. О сильном впечатлении, произведенном первыми газовыми фонарями в Петербурге в 1860-х гг., см. [Марина 1914: 689].

приносить удовольствие». Миру труда не удается сопротивляться этой атаке на его социальные и культурные прерогативы: «Он отвечает тем, что скукоживается, предоставляя рабочим еще большую свободу от трудовых ограничений» [MacCannell 1999: 5, 35].

Независимо от того, рассматривают ли существующее положение дел с безоговорочным энтузиазмом или со смешанными чувствами¹, оно предоставляет удобную историческую площадку для того, чтобы оглянуться назад. В долгосрочной исторической перспективе ученые постулируют сдвиг от «традиционных» навыков к «модерным» структурам досуга, а также уход от «циклического» к «линейному» времени. Как еще в 1964 г. отметил Кит Томас, можно внести общее различие между практиками труда и свободного времени «примитивных», или «доиндустриальных», обществ и практиками современного индустриального мира. В первом случае жизнь *«следует предустановленной модели, в которой работа и неработа неразрывно связаны»*. Периоды досуга не отделены четко от экономической деятельности: охота, посещение рынка и даже пахота могут обладать элементами общения и досуга. Подобные общества характеризуются невосприимчивостью к метрономному времени: *«работа регулируется не часами, а требованиями задачи»* [Thomas 1964: 51–52].

В эпоху промышленной революции, развивает Томас свою мысль, «народная» трудовая культура столкнулась с индустриальной рациональностью и интенсивными трудовыми практиками модерности и в целом не выдержала этого столкновения. В результате люди оказались не в состоянии работать так, как они это делали прежде: первоначально загнанные огораживанием и избытком труда в оплаченное рабство, рабочие в конце концов впитали ценности промышленного капитализма, приобретя *«новое внутреннее принуждение к труду»*. Как пишет в заключение Томас, *«в конце концов <...> индустриализм оказался победителем, хотя и не в том виде, в каком это представляли себе его ранние протагонисты. Вместо правового и экономического принуждения к труду пришла сила привычки и даже ощущение обязанности»* [Там же: 62].

К тому же ряду проблем подошел Е.П. Томпсон, предложивший гораздо более детальное описание того, как промышленная революция отразилась на субъективной оценке времени. Он также писал об «ориентированности на задачу», свойственной крестьянским сообществам, однако в большей степени,

¹ Классический пример подобных смешанных чувств — или, собственно говоря, откровенной враждебности — [Adorno 1991].

чем Томаса, его интересовало то, каким образом новые индустриальные практики ведут с ней борьбу. Он указывает, что переход к наемному труду вводит фундаментальное различие между временем, отданным нанимателю, и «собственным» временем рабочих. Подводя итог, Томпсон пишет: «Теперь время превращается в денежные знаки: оно не проходит, а тратится». Томпсон прослеживает установку церковных и других общественных часовых механизмов начиная с XIV в. и далее, поразительный рост часового производства в Англии с конца XVII в., а также общее распространение часов и отсюда «синхронизацию труда» в эпоху промышленной революции [Thompson 1967]¹.

Между тем в данном случае Томпсона интересует, как и в его знаменитом «The Making of the English Working Class», не просто фиксация *«требований дисциплины и порядка»* и последующее *«исчезновение игровых моментов досуга и подавление игровых импульсов»* [Thompson 1991: 442, 448], но демонстрация того, каким образом можно сопротивляться подобным требованиям, а также то, как восприимчивость по отношению к ним варьируется от одной рабочей среды к другой. Несмотря на все попытки организации рабочей силы, рабочий день и трудовая неделя оставались в высшей степени нерегулярными на большинстве производств, а «ориентированность на задачу» — доминирующим принципом. Наличие местных вариаций предполагает, что говорить о каком-либо одном типе перехода к синхронизированным трудовым практикам трудно (отметим, например, что Канатчиков пишет о гораздо более жесткой организации петербургских фабрик, по сравнению с московскими, на которых он начинал свой трудовой путь). Как напоминает нам Томпсон, *«историческое свидетельство является не просто свидетельством нейтрального и неизбежного технологического сдвига, но помимо этого говорит об эксплуатации и сопротивлении ей»* [Thompson 1967: 93–94]².

Переходя теперь от труда к досугу, мы обнаруживаем достаточное количество других указаний на то, что парадигма «от—традиции—к—модерности» не свободна от упрощения и неточностей. Начать хотя бы с того, что «домодерные» народные развлечения не только выжили в проходившем процесс модер-

¹ В недавнем исследовании [Dohrn-van Rossum 1996] предложен более тонкий анализ данного явления; здесь отмечены сложные взаимоотношения между технологическими сдвигами (изобретение и распространение часов) и «темпоральной структурированностью», свойственной западным обществам.

² Проблема присутствия «циклического» времени в ситуации модерности подробно рассмотрена в [Young 1988]. Самого Томпсона упрекали в том, что он преувеличивает ту степень, до которой время при капитализме превращается в товар [Whipp 1987: 216–223].

низации городе, но подчас и процветали, используя, если это было необходимо, новейшие технологии. «Традиционная» культура отнюдь не была невосприимчивой или враждебной по отношению к модерности (что демонстрирует ее готовность вписаться в индустрию досуга). Развлечения «народа» и «элиты» не существуют по отдельности — имеется целый ряд способов их взаимодействия. «Традиционное» и «модерное» переживания времени также никак не застрахованы от возможности комбинирования. Перемены происходили настолько постепенно, настолько незначительным был результат цивилизаторских усилий образованных классов, что сама идея разрыва в практиках досуга может показаться обманчивой¹.

Социальная история России предоставляет нам множество примеров «традиционного» использования времени и отношения к нему, сохраняющихся в городском ландшафте эпохи модерности. Хотя жилищные условия рабочего класса почти неизменно были ужасающими, люди, несмотря ни на что, продолжали ходить друг к другу в гости. Это касается и исключительно холостяцкой среды, к которой принадлежал Канатчиков, и, быть может, в еще большей степени характерно для постреволюционной эпохи, когда все большее количество рабочих семей обустраивалось на постоянной основе в городе, а альтернативные места народных развлечений (особенно кабаки) оказались закрытыми. Важнейшим источником развлечений в раннесоветском городе являлось уличное общение. Согласно исследованиям, посвященным бюджету времени 1920-х гг., *прогулки и общение* преспокойно оставались основными занятиями в свободное время у мужчин и (особенно) женщин [Bushnell 1988: 60–61]. В более общем виде, различие между трудом и досугом оказывается более неопределенным в России XX в. (вплоть до наших дней), чем то, к чему привыкли люди в Британии или Соединенных Штатах. Бесчисленные иностранные визитеры, общаясь с университетскими профессорами, продавцами, библиотекарями и людьми множества других профессий обнаруживали, что граница между службой и общением в свободное время может быть неожиданно проливаемой, прозрачной².

¹ Полезный анализ этих «ревизионистских» соображений можно найти в [Cunningham 1980]. О местных особенностях см. [Walton, Walvin 1983]. Преемственность между культурой рабочего класса и народной культурой стала основной темой в [Abrams 1992]. Что касается исследований, посвященных России, см. пионерское исследование [Kelly 1990]. Проблема взаимодействия традиции и модерности в системе городских развлечений России получила более синтетическую трактовку в [Kelly, Shepherd 1998].

² Восточноевропейским интеллектуалам государственный социализм внушал отношение ко времени, отличавшееся отсутствием жесткости и ограничений, которое множество их западных коллег считали привлекательным и даже вдохновляющим; см., например, [Garton Ash 1999: 262]. Альтернативная точка зрения (в данном случае высказанная по поводу

Это можно рассматривать как результат давления модернизации по-советски. С самого начала советский «новый человек» должен был включать в число своих первостатейных качеств способность эффективно и рационально пользоваться временем, что со всей очевидностью пошло бы на пользу производительности труда (как в случае тейлоризма 1920-х гг. или стахановского движения) и освободило бы советский народ от оплаченного рабства прошлого. Ввиду этого свободное время стало важным показателем успеха советских социальных реформ. В наиболее утопические моменты своей жизни советский социализм предсказывал непомерное уменьшение трудового времени для рабочих масс. Ленин, например, писал о возможностях технологии, которая сократит рабочее время в четыре раза. В мае 1959 г. сходным образом Хрущев предрекал то время, когда *«люди будут работать в день по три-четыре часа, а может быть и меньше»* [Струмилин 1959: 6–7]¹. Подобные высказывания комбинируют риторику прогресса, приводящего к изобилию, и марксистский миф об органическом социуме, интегрирующем всех своих членов в гармоническое и продуктивное сообщество и во время трудового процесса, и после.

Эти грандиозные предназначения принесли непредвиденные результаты — по двум основным причинам. Во-первых, они не были проартикулированы или навязаны непротиворечивым образом, в основном потому, что содержали базисную двусмысленность (если не сказать, противоречие): следовало ли совершенствовать трудовые практики для того, чтобы люди могли работать больше, лучше и с большим удовольствием, или для того, чтобы они могли более творчески и культурно использовать свое нерабочее время? Только Ленин и Хрущев, главные утописты, пришедшие к власти, могли не обратить внимание на эту проблему: другие лидеры, обладавшие более долгосрочными перспективами на то, чтобы удержать власть, были осторожнее². Вторая и более очевидная причина заключается в том, что советские обещания сверхэффективной промышленной революции и высокого качества жизни, мягко говоря, расходились с реальностью. Они появи-

коммунистической Румынии) заключается в том, что государственный социализм *«породил ритмику лишенного правил, то яростного, то спущая рукава, не обладающего регулярностью труда, хаотически непредсказуемого времени, сделавшего невозможным для обычных граждан любое планирование»* [Verdery 1996: 57].

¹ См. интересное исследование, посвященное раннесоветскому стремлению к «овладению временем» и возникшему в результате «синтезу харизмы и системы рационально-правовых процедур» [Hanson 1997].

² Меняющиеся стратегии по отношению к рабочему дню в раннесоветской России рассмотрены в [Chase, Siegelbaum 1988].

лись на фоне общества, которое даже в больших городах так и не достигло изобилия и нередко было озабочено выживанием. Командная экономика являлась в то же время экономикой дефицита, означавшей, что на практике люди передвинут границы между трудом и частной жизнью — мыслившиеся четкими и твердыми. Смысл этого становится яснее, если мы обратимся к стандартному экономическому объяснению «возникновения досуга» в условиях западного «индустриального урбанизма»: *«Мы обладаем досугом благодаря эффективному использованию рабочего времени. Мы продаем время с тем, чтобы можно было использовать непроданное время, как хочется. Мы считаем, что производство и потребление являются противоположными типами пользования временем, однако в обоих случаях время может измеряться в денежном эквиваленте»* [Anderson 1998: xi]. Или, если представить это противоположным образом и выразиться более резко: *«Потребление съедает деньги, деньги стоят труда, работа заставляет терять время»* [de Grazia 1974: 100]. Вряд ли советские люди сознавали, что их время стоит денег или что их деньги стоят труда: в качестве возможных примеров тех, кто понимал это, можно вспомнить обслуживающий персонал (вроде водопроводчиков и электриков), соединявший в своей работе оба экономических принципа, и привилегированный слой писателей, рассчитывавших на большие гонорары, прямо пропорциональные количеству написанного. Однако у большинства людей отсутствовали мощные экономические стимулы для развития трудовой этики, а также вкус (или возможности) к расходованию средств в целях повышения своего социального статуса¹.

Конечно, именно здесь советский режим увидел свою счастливую звезду: воспользовавшись отсутствием полноценных рыночных отношений и культуры потребления, он попытался навязать населению новые, некапиталистические представления о свободном времени. Взявшись за проблему досуга, он подошел к тому, что являлось главной общественной заботой всей городской Европы XIX в., воспользовавшись преимуществами (несомненно разнородными) исторического опыта и марксистского анализа. Как отмечали уже с середины XIX в. образованные европейцы, современный город создал общество, в распоряжении которого оказывалось все больше и больше «свободного времени» и которое, тем не менее, очень часто не было приспособлено для того, чтобы помочь людям выгодно это время использовать. Поэтому политические, со-

¹ Как хорошо известно, «они делают вид, что платят нам, мы делаем вид, что работаем» — что является наиболее афористичным выражением советской трудовой логики.

циальные и культурные элиты отчаянно ломали себе голову над тем, как превратить массы в продуктивный, неструктурированный класс, обладающий досугом — обращаясь к репрессивным мерам, вбивая в головы религиозные догмы, реализуя образовательные проекты или делая доступными определенные практики досуга в качестве своего рода «опиума для народа». Как бы то ни было, к последней четверти XIX в. способы проведения досуга рабочим классом, иначе известные как «массовая культура», были признаны в большинстве регионов Европы в качестве неизбежного факта городской жизни (см., напр.: [Bailey 1987]).

Советский строй, в противоположность якобы дисциплинарным режимам Западной Европы, был нацелен на то, чтобы создать свои собственные массовые развлечения. Поэтому *отдых*, особенно с 1930-х гг., стал предметом многочисленных дискуссий; он являлся одним из концептуальных инструментов, с помощью которых выстраивался советский идеал «культурной» жизни. То важное место, которое *отдых* занимал в советском дискурсе, было обеспечено его статусом необходимого противовеса труду: основная мотивировка *отдыха* (как подсказывает этимология) — восстановление сил, тем не менее, его функции оказывались гораздо более широкими. Отдых должен был играть важную роль в развитии индивидуумом самого себя, а также в общении, и как таковой был предназначен для того, чтобы способствовать формированию советского гражданина и, кроме того, подготовить его для очередной порции физического или умственного труда. Конечно, странно было бы полагать, что публичное понятие *отдыха* точно соответствовало тому, как советский народ распоряжался своим свободным временем (иными словами, утверждать, что он «никогда не получал удовольствия»). Люди не спешили приобщиться к навязанным им политизированным и цивилизованным способам проведения свободного времени. Отнюдь не предаваясь с восторгом «рациональному отдыху», советское население сохраняло вкус к выпивке и «приватному» общению¹. Как отметил Джон Бушнелл, городская культура свободного времени в России весьма незначительно изменилась между началом XX в. и 1960-ми годами [Bushnell 1988].

Однако нельзя отрицать того, что официально поощряемые

¹ См. прежде всего [Phillips 2000]. Автор данной книги полагает, что новым и значительным явлением 1920-х гг. явилось возникновение молодежной культуры выпивки, хотя общий уровень потребления алкоголя, конечно, не снизился. Рабочие часто пользовались новыми советскими праздниками для того, чтобы отмечать свои неофициальные даты — не отказываясь при этом от праздников старых.

способы проведения свободного времени, к которым человека подталкивала и экономика дефицита, могли создавать близкий горизонт ожидания советского народа. Человек советский, например, с большей вероятностью, чем жители западных стран, мог сознательно стремиться к приобщению к «культуре» через занятия, которым предаются в свободное время. Гораздо больше времени (особенно в жизни женщины) уделялось тому, что социологи называют «нетрудовыми обязательствами»; многие из них были не просто тяжелыми домашними повинностями, но и существенным дополнением к идентичности советского гражданина и его ощущению осмысленности личного существования. Важнейшим примером в данном случае является работа на садовом участке, деятельность, которую часто называют *активным отдыхом* (термин, изначально восходящий к нравоучительному публичному дискурсу, однако пустивший корни в культуре повседневности). В феномене дачи лучше, чем где бы то ни было, мы можем видеть, как квазимодернизаторские импульсы советской идеологии обретают общую почву с «традиционными» навыками и ценностями населения. Примерно в 1980–1990-х гг. русские, работая на своих участках, могли проводить время не хуже жителей Западной Европы, однако менее вероятно, чтобы они при этом называли это «удовольствием»¹.

До сих пор я говорил о том, как история свободного времени может влиять на нашу интерпретацию русского рабочего люда в конце XIX и в XX вв.: как люди приходили к осознанию различий между деятельностью трудовой и нетрудовой, как они постепенно начинали придавать значение этим различиям, как разные политические и социальные институты пытались придать досугу подчиненных классов осмысленный и добродетельный характер, как результатом всего этого стал особый тип гибридизации «традиционного» и «модерного» переживаний времени. Однако к истории свободного времени можно подходить и совершенно иным образом. Вместо того чтобы превращать в объект изучения людей, чьей привычной ситуацией является тяжелый физический труд, а также то, как они начинают переоценивать деятельность, с трудом не связанную, можно обратиться к сегментам общества, непривычным к работе, наемному труду, формализованным требованиям, предъявляемым к их времени, и проследить, как эта часть социума начинает осознавать работу и досуг в качестве разных

¹ Эти выводы можно сделать на основе работ о бюджете времени, суммированных в [Gordon, Klorov 1975]. В своем исследовании, посвященном советской трудовой политике, Виллиам Москофф убедительно показал, что «[советское] общество в известном смысле чувствовало растерянность относительно того, что делать со свободным временем» [Moskoff 1984: 109].

модусов бытия. Социальный и политический смысл этого вопроса увидеть несложно. Успех английской промышленной революции приписывают не только тому факту, что массы удалась с успехом подвергать эксплуатации, но и тому, что класс-эксплуататор (викторианская буржуазия) подчинился такому же дисциплинарному прессу, что и его наемные рабы: представление о необходимости «экономного расходования времени» прививалось с детства, работа рассматривалась как обязанность каждого (а праздность — как греховное природное состояние, в которое впадает человек, оставшийся без присмотра). Напротив, согласно стереотипам, потенциально буржуазные русские были слишком поглощены своим стремлением воспользоваться всеми благами жизни, чересчур отягощены чувством вины и возмущены государственным угнетением или излишне привязаны к романтизированному ветхозаветному представлению о трудовом императиве и его месте в русской душе, чтобы подчинить самих себя жесткой трудовой дисциплине и постепенно выстроить четко артикулируемый этос среднего класса.

Говорим ли мы о России или об Англии, одна из причин, по которой представители образованных классов истратили столько чернил, рассуждая о досуге, заключается в том, что этот вопрос касался не только городских «масс», но и самой культурной элиты. Представители среднего класса — являлись они приверженцами протестантской этики или нет — в большей степени, чем рабочий класс, во имя которого они частенько выступали, испытывали дискомфорт, когда речь заходила об идее досуга (по той простой причине, что они не могли представить бесспорные доказательства того, что то, чем они занимаются, в принципе является «работой»).

Теперь наш вопрос будет звучать следующим образом: как, если это вообще произошло, представители русского благородного сословия «открыли» досуг? Когда русские дворяне от почти полного отсутствия рефлексии по поводу своего времяпрепровождения переходят к осознанию переизбытка свободного времени и наличию выбора в том, как его потратить?

Важный вклад в решение этой проблемы, как и многих других, внес историк культуры и семиотик Юрий Лотман. В своих «Беседах о русской культуре» он рассматривает петровское время в качестве эпохи, когда произошел базисный сдвиг в опыте и ценностях российской социальной элиты. Среди множества других вещей с Петром приходит иное чувство времени: с точки зрения Лотмана, в жизни дворянина день аккуратно делился пополам — половину он тратил в качестве слуги государства, а другую половину был предоставлен само-

му себе [Лотман 1999: 22]¹. Петровское государство предпринимало судорожные попытки стереть даже это различие, создав единую упорядоченную публичную сферу. Петровские ассамблеи (учрежденные в 1718 г.), куда петербуржцы, обладающие определенным статусом (от высших слоев дворянства до квалифицированных работников), могли собираться время от времени, публично санкционировали, хотя и под бдительным оком официальных наблюдателей, возможность цивилизованной беседы, снимавшей иначе непроницаемые социальные границы. Основной целью ассамблей была попытка объединить военную, гражданскую и коммерческую элиты благодаря разумному и цивилизованному социальному взаимодействию [Семенова 1982].

Далее Лотман [Лотман 1999: 91] развивает свою мысль, переходя к более позднему периоду; он полагает, что к концу XVIII в. жизнь дворянства структурировалась тремя сферами: личной сферой (т.е. домашней), государственной службой и общественной сферой (основной пример, приводимый Лотманом в данном случае — балы). Конвенциональные, сознательно воспринятые поведенческие модели существовали во всех трех сферах. Постепенно развлечения элиты и народа пошли разными путями. Народные празднества продолжали существовать в прежнем виде, тогда как вестернизированная элита начала ориентироваться на придворную жизнь более «цивилизованных» стран. Анализ Лотмана опирается на богатую традицию *exposés*, принадлежавшую одержимой внешними проявлениями придворной жизни. Исследователь демонстрирует отсутствие идеи «досуга» в русской культуре того времени, что подтверждается, например, посвященной травелогам книгой Андреаса Шенле, где отмечено, что «досужий взгляд» оставался нелегитимным для первых русских прототуристов [Schönle 2000: 203, 208]. При чтении книги Лотмана подчас возникает вопрос, не слишком ли поспешно автор, не обнаружив в используемых источниках² следов присущего модерности индивидуализма, делает выво-

¹ Напротив, в допетровской России основная проблема заключалась в том, служил ли человек государству или же был слугой или рабом того, кто состоял на государственной службе. Быть «свободным» (*гуляющим или вольным человеком*) оказывалось сомнительной привилегией: это означало отсутствие обязанностей, но при этом и отсутствие доходов; подобный человек обладал статусом бродяги. У людей, состоявших на государственной службе, конечно, имелись обязанности, однако они не обладали регулярным характером, являлись менее формализованными, чем при Петре. В такой ситуации не могло возникнуть четких различий между работой и неработой.

² Кажется, Лотман недооценивает то, насколько удовольствие, не сдерживаемое социальными обязательствами, являлось законной ценностью элиты XVIII в. Так, в «Фелице» Державина богатство и праздность поданы в столь привлекательном свете, что они заслоняют заявленное намерение автора прославить мудрость императрицы, ее скромность и прилежание. Многочисленные свидетельства того, насколько Екатерина и ее ближайший круг предавались удовольствиям и почитали это добродетелью, см. [Sebag Montefiore 2000].

ды относительно связанности русской элиты ролевым поведением. Однако даже если это так, он, несомненно, прав, отмечая отсутствие широко распространенного концепта досуга как свободных, приносящих наслаждение и ощущение личной реализованности занятий самим собою, а не системы общения, структурированной ритуалом¹.

Для того чтобы понять, пустил ли вообще подобный концепт корни на русской почве, я хотел бы обратиться к исследованию данного периода — от начала XIX в., где анализ Лотмана в целом заканчивается, и до наступления эпохи, на изучение которой историки культуры царской России растрачивают львиную долю своей аналитической энергии (несколько десятилетий от освобождения крестьян до революции) (см. в особенности [McReynolds 2003]). Локус, на котором я попытаюсь сконцентрироваться — Петербург, город, население которого в первой трети XIX в. стремительно растет и где число жителей-дворян увеличивается даже быстрее, чем население в целом. Это означало, что количество людей, занятых на невоенной службе, расширялось; все больше и больше народа на своем опыте знакомились с формализованными требованиями службы и, таким образом, потенциально стало нуждаться в удовлетворительном нерабочем времени. Более того, многие из этих людей были холосты, жили вдали от своих семей и обладали лишь малым количеством налаженных социальных связей, которые могли бы поддержать их в большом городе. Каким ощущением времени обладала эта категория петербуржцев?

Если мы, прежде всего, спросим себя, что для этих людей означала работа, ответ на этот вопрос окажется не очень простым делом. Как отчетливо продемонстрировали исследования Уолтера Пинтнера, посвященные бюрократии, гражданская служба в России в первой половине XIX в. становится гораздо более профессионализированной. Бывшие армейские офицеры, составлявшие административный аппарат екатерининской эпохи, умерли или ушли в отставку — и были сменены классом карьерных бюрократов. Нацеленные на карьеру администраторы с широчайшими амбициями и перспективами, конечно, должны были стремиться к тому, чтобы прослужить в Петербурге как можно дольше [Pintner 1970, 1988]. То количество энергии, которое эти люди вкладывали в служебную деятельность, зависело от их начальников, средств и личных склонно-

¹ Мы найдем подтверждение этой мысли, если обратимся к исследованию, в котором представлен иной по сравнению с лотмановским подход и где используется иной набор источников: в первой главе (отведенной периоду 1760–1830 гг.) своего исторического очерка о русских текстах, посвященных бытовым рекомендациям и советам, Катриона Келли пишет в основном о тематике «манер и морального воспитания» [Kelly 2001].

стей [Lincoln 1975: 89–90]. Бедные провинциалы, поступавшие на службу, должны были трудиться день и ночь, если хотели сделать карьеру [Инсарский 1894; Александров 1904]. Напротив, для молодых дворян со связями служебные обязанности являлись совсем необременительными и часто предоставляли им много свободного времени, так что служба не казалась определяющей частью их жизни¹. Если они не тратили много времени на занятия иные, чем служба (такие как литература, добросовестное посещение театра или визиты в лучшие дома), это свидетельствовало об индивидуальных особенностях или отсутствии благоприятных социальных обстоятельств. Тем не менее эти люди отличались друг от друга в понимании того, чем они занимаются во внеслужебное время: часть из них предавалась удовольствиям, тогда как другие были поглощены тем, что почитали главным делом жизни (например, литературой). Некоторые, хотя формально и состояли на гражданской службе, неохотно называли бы себя *чиновниками*. Другие придавали большее значение служебному положению, хотя и для них оно не являлось простым указанием на служебный статус, но предполагало целостный стиль жизни: определенный набор способов препровождения свободного времени и привычек, не связанных с департаментом, а также деятельность служебную и непосредственно связанную со службой.

Чтобы очертить ряд существовавших возможностей, сравним биографии двух молодых дворян, почти одновременно учившихся в Благородном пансионе при Московском университете и поступивших на гражданскую службу в Петербурге в начале XIX в. Один из них — Степан Петрович Жихарев, родившийся в 1788 г. в старинной, богатой и видной семье (его дед, к примеру, был генерал-губернатором в царствование Екатерины II). Проучившись в Благородном пансионе в 1805–1806 гг., Жихарев провел несколько месяцев, предаваясь страсти к театру и светской жизни, пока не был определен на гражданскую службу и не переехал в Петербург в ноябре 1806 г. Здесь он, пользуясь при каждом удобном случае своими блистательными связями и льстивыми речами, бросился с головой в вечный круговорот визитов. Так, например, не будучи представленным, он смог попасть в дом Гаврилы Романовича Державина и получил теплый прием благодаря своему хорошо подвешенному языку и памяти поэта о жихаревском деду. Хотя еще находясь в Москве Жихарев с трепетом ожидал служебно-

¹ В подробных воспоминаниях Светлова о повседневной жизни в Петербурге указано, что чиновники даже в самом конце XIX в. проводили — по нашим нынешним меркам — не очень много времени на службе. И тем не менее к этой эпохе чиновничья служба стала более профессионализированной; поэтому сами чиновники более охотно определяли себя и свое время с точки зрения службы [Светлов 1998: 20–21].

го назначения, он был удивлен тому, сколь немного от него требовалось. Даже для него, человека весьма ценившего удовольствия, это было труднопереносимо. «*Право, становится скучно и даже досадно: нет в виду никакой выслуги и, пожалуй, придется опять приняться за поэзию или таскаться по театрам*» [Жихарев 1934 (2): 133]¹. В целом, однако, Жихарев настолько примирился с такой высокой степенью ничегонеделанья, что Гнедич спросил его однажды, почему, будучи совсем необремененным службой, он не примется за какое-нибудь литературное начинание. Жихарев стремился проводить время с актерами и старшими коллегами и восхищался теми, кто разделял его приверженность удовольствиям. Однако эта готовность вкушать все блага жизни не превратила его в откровенного сибарита. Записи в его дневнике пронизаны ощущением, что совершенная *праздность* является злом, характерным прежде всего для старшего поколения московских дворян. Это суждение выносится на основаниях не столько нравственных, сколько прагматических. Обычный празднотел несчастлив и социально уязвим; *служба* рассматривается не только в качестве гарантии социального статуса, но и как профилактика меланхолии, верное средство увеличить собственный моральный комфорт и возможности предаваться приятному времяпрепровождению. Беседы Жихарева с начальниками, а также рассказы, которые он слышал о них, подсказали ему, кроме того, что умеренное количество добросовестности в молодые годы и среднем возрасте приведет к беззаботному счастью в зрелости².

Мой второй пример — Валериан Иванович Сафонович [Сафонович 1903]³. Он был послан в Благородный пансион в 1810 г., нашел свои учебные занятия интересными и достойными зат-

¹ Жихарев мог с уверенностью ожидать, что определенное количество выслуженных лет приведет к плавному карьерному росту. От него требовалось лишь немного прилежания или карьерного расчета.

² На самом деле Жихарев в своей карьере не последовал этому рецепту успеха. После ровных десяти лет службы он в 1818 г. ушел в отставку, женился и провел несколько лет в своем имении. В 1823 г. он вновь поступил на службу и в 1840-м стал сенатором. В то же время, однако, он был известен своим рассеянным образом жизни; ходили слухи о его финансовых злоупотреблениях (т.е. взяточничестве). В 1847 г. он был вынужден уйти в отставку без пенсии и до самой смерти в 1860 г. жил в стесненных обстоятельствах.

³ Текст Сафоновича — это воспоминания, написанные спустя десятки лет. Данный факт до известной степени объясняет различия в тоне между его мемуарами и дневником Жихарева. Тем не менее оба текста являются достаточно подробными и заслуживающими доверия в деталях, что оправдывает предпринятый мною сопоставительный анализ. Во всяком случае, формальные различия между воспоминаниями и дневником не являются вполне отчетливыми: несомненно, что Жихарев переработал свой дневник перед тем, как напечатать его в «Москвитянине» (1853–1854) и «Отечественных записках» (1855), воспользовавшись опытом прожитых лет и опубликованными материалами, чтобы дополнить наблюдения юности (см. заметки редактора в [Жихарев 1934 (1): 8–9]).

раченного времени (напротив, детали, связанные с образованием, полностью отсутствуют в дневнике Жихарева). После эвакуации в 1812 г. в имение, располагавшееся на безопасном расстоянии от города, и дальнейшей учебы в Московском университете, Сафонович начал свою карьеру петербургского чиновника в 1817 г. Как и Жихарева, Сафоновича удивило, как мало времени требует от него служба, однако он не мог предаваться удовольствиям, пользуясь избытком свободного времени. Скорее, свободное время казалось Сафоновичу тяжелым грузом, поскольку у него не было ни денег, ни связей, чтобы проводить его с удовольствием. Будучи дворянином, получившим к тому же блистательное образование, он был сиротой и в гораздо большей степени, чем Жихарев, сам прокладывал себе дорогу в жизни. Немногие из доступных ему занятий в свободное от департамента время не приносили Сафоновичу никакого удовлетворения. Вот как он отзывался о карточной игре, своем основном времяпрепровождении вне службы: «*Время погибало безвозвратно*» [Сафонович 1903: 163]¹. По большей части он чувствовал одиночество и скуку, остро ощущал недостатки холостяцкой компании, к которой принадлежал, и с сожалением размышлял о том, насколько трудно создать себе благоприятные социальные условия и наилучшим образом ими воспользоваться. Его робость и неловкость, как и неумение вступать в светскую беседу с противоположным полом, мешали его социальному продвижению. Мало-помалу трудностей становилось все меньше: жалованье возросло до 3000 руб., он женился, завел дом — все это улучшило его положение и дало больше возможностей для светской жизни.

Хотя Сафонович считал холостяцкое существование в Петербурге тяжелым, он не стремился к жизни на широкую ногу и интенсивному светскому общению, в которое был вовлечен Жихарев. Он был склонен к существованию размеренному, к тому, чтобы получать удовольствие время от времени и в высшей степени благопристойным образом. Тем не менее, несмотря на глубинные различия в мировидении, у этих молодых людей было в основе своей нечто общее. Ни один из них не мыслил жизни без службы; они оба служили, будучи убеждены, что получать удовольствие от «свободного» времени можно только при условии, что другие сегменты времени «заняты».

Несомненно, чувство неудовлетворенности, подобное тому, которое испытывал Сафонович, становилось более распространенным по мере того, как Петербург наводняли молодые люди,

¹ Карточную игру упоминают и другие источники в качестве времяпрепровождения тех, у кого не доставало средств, ума или *savoir-faire* найти себе более осмысленное занятие; см. [Башуцкий 1834: 106–107; Медведев 2000: 18].

сочетавшие ограниченные социальные возможности с большими надеждами на городскую жизнь. Это чувство фрустрированности часто упоминают в качестве одной из основных причин возникновения в 1830–1840-х гг. русской интеллигенции. Например, хорошо известная враждебность Белинского к русскому бюрократическому миру подстегивалась (а может быть, даже и провоцировалась) его собственными несчастливыми переживаниями, связанными с отчуждением и социальной неукорененностью. Письма Белинского 1840-х гг. к Василию Боткину и Михаилу Бакунину говорят о страданиях и дискомфорте, источником которых стало отсутствие служебного положения: *«Горе человеку, если он ограничивается быть только человеком, не приисовокупляя к этому абстрактному и громкому названию звания ни купца, ни помещика, ни офицера, ни чиновника, ни артиста, ни учителя. Общество покарат его. Эту кару я уже чувствую на себе»* [Белинский 1956: 444]. Причиной несчастий Белинского было не только отсутствие уважения (от которого он страдал, не будучи аристократом, занимающимся свободной профессией) или источников дохода (в которых он остро нуждался), но и то, что он, восхищаясь *деятельностью*, испытывал отвращение к формам социальной активности, открытым для людей его положения. В моменты наибольшего раздражения по поводу существующего порядка вещей (становившиеся все более частыми по мере того, как Белинский делался старше), он, однако, заявлял о высоком значении своей собственной деятельности (литературная критика), полагая, что здесь сочетаются лучшие черты профессии и призвание.

Другие литераторы, обладавшие более непосредственным знанием о том, что такое служба, чем Белинский, гораздо лучше осознавали претензии литературы на то, чтобы быть профессией, где время имеет значение и где ему может быть приписана денежная ценность. Именно так полагал Николай Гоголь, который через несколько месяцев службы отказался от места с увеличенным жалованьем в 1000 руб. Он был абсолютно убежден, что его время стоит дороже, чем полагали в его департаменте (известно, что Гоголь мог себе позволить думать подобным образом благодаря финансовой поддержке матери). Гоголю, как и Пушкину, нужно было напрямую столкнуться с институционализированной службой, чтобы осознать конечность жизненных ресурсов, которые следует тратить с большей пользой¹.

¹ См. письмо Пушкина А.И. Казначееву, написанное в Одессе в мае 1824 г. Здесь Пушкин отказывается выполнять служебное предписание новороссийского генерал-губернатора графа Воронцова (а именно — исследовать меры, принятые против набегов саранчи в соседнем регионе) и утверждает, что его *«ремеслом»* является поэзия. Он получает 700 руб. *«не так, как жалование чиновника, но как паек сылочного невольника»* [Пушкин 1958: 88]. В конце концов, ему не удалось уклониться от своей поездки «на саранчу».

У робкого Сафоновича и едва ли большого скромника Гоголя было нечто общее — способность чувствовать скуку. Это, в свою очередь, предполагало ощущение права — уверенность в том, что в жизни есть многое, чем можно и нужно заняться¹. Если время не обладает достаточным количеством внутренних границ, оно в самом деле трудно переносимо. Лишь Илья Обломов, самый нестандартный герой русской литературы XIX в., не был обеспокоен тем фактом, что у его времени нет начала и конца, что оно не подвержено делению. Напротив, только Акакий Акакиевич, убогий копиист из гоголевской «Шинели», мог самозабвенно посвящать каждое мгновение службе. Реальные чиновники, однако, должны были время от времени ощущать это вечное кружение между двумя нежелательными ролями: на службе чиновник был Акакием Акакиевичем, а дома — *faute de mieux* — Обломовым. Молодые люди, подобные Сафоновичу и Гоголю, обнаруживали, что город порождал у них ожидания развлечений и деятельности, в то же время обманывая эти ожидания. И тем не менее разрыв между желаниями и их реализацией не был неизбежным. Скорее, можно говорить о цикле, состоящем из удовлетворения и вновь возникающей подавленности — то, что для XX в. можно назвать диалектикой современного консюмеризма (или, для XIX в. — диалектикой буржуазной амбивалентности).

Среди петербуржцев существовали колоссальные различия в том, какими средствами они располагали для посещения публичных развлечений и какими возможностями для развлечений домашних. Общим для всех местом проведения досуга была улица². Жизнь в начале XIX в. обладала ежедневными, сезонными и другими нетрудовыми ритмами, на которые полагались для того, чтобы развеять скуку, те, кто не обладал достаточными финансовыми ресурсами или кого не приглашали в лучшие дома. В российской столице существовала культура прогулок, в которых могли участвовать разные статусные группы. Петербург считался гораздо более «гуляющим городом», чем Москва [Белинский 1955: 399]. Обычай гулять получил в начале XIX в. высочайшую санкцию, когда Александр I стал пионером ежедневного публичного моциона. Время прогулок, выкраиваемое высшим обществом из своего дневного расписания, располагалось между двумя и четырь-

¹ Связь между скукой и осознанным правом «на стремление к счастью» является одной из основных тем в [Spracks 1998]. О скуке как общем месте петербургской жизни см. [Расторгуев 2002: 158–159].

² Сходным образом *promenade* описывается в качестве «универсальной формы досуга» в Париже XVIII в. [Garrloch 1986]. Большинство исторических работ о городских прогулках посвящены разновидностям *flâneur*, фланерства, которое является более поздним, более осознанным занятием, подчеркивающим свою специфичность.

мя¹. Время от полудня до двух принадлежало *праздношатающимся*, заполнявшим Невский проспект, тогда как трудившиеся в своих департаментах чиновники выходили на прогулку позже — летом их прогулки могли продолжаться до предрассветных часов. А судя по позднейшим, весьма информативным воспоминаниям о повседневной жизни гражданских служащих, эта ситуация сохранялась и в 1890-х гг. Большое количество прогуливающихся (теперь именуемых *фланерами*) появлялось к 11.00 утра, тогда как *гулянье* после службы начиналось около 7.00 вечера (основным местом прогулок был центр города, хотя в конце XIX в. даже богатые улицы были освещены отнюдь не везде) [Светлов 1998: 43–44].

Еще более удивительным, чем простой факт прогулки, является то, насколько широко петербургские наблюдатели в 1830-х гг. и позже пользовались ею в качестве инструмента интерпретации города и его населения. Газеты были наполнены подобными описаниями, как и ранняя «физиологическая» и реалистическая проза. Социальные модели, подсмотренные на улице, стали частью литературного репертуара А.П. Башуцкого — по всей вероятности, самого амбициозного и систематического хроникера петербургской повседневности 1830-х гг. Он оставил наиболее детальное описание повседневного графика Невского проспекта, а также тех профессиональных и культурных различий, о которых этот график свидетельствовал [Башуцкий 1834: 78f.]. Анализ Башуцкого выполнен в высшей степени в славянофильских тонах: основной целью автора было продемонстрировать, что русские, даже попав в город, согласны со статусными различиями, присущими данному обществу, и не испорчены собственничеством, сбившим с пути истинного Западную Европу.

Важность, которую придавали *прогулке*, возникала в значительной степени благодаря тому факту, что она сосуществовала одновременно с *гуляньем*, а также считалась вытесняющей эту более старую, более «народную» форму проведения досуга — собрание под открытым небом или процессию, собирающуюся по праздникам и традиционно проходившую по разным маршрутам в зависимости от дня того или иного святого. Эти явления полны трудностей для исторической интерпретации. Кажется, все согласны с тем, что в конце XVIII—начале XIX вв. гулянья посещались максимально широким спектром городского населения — от крестьян до аристократов. Вплоть

¹ Как вспоминал Д.Н. Свербеев, другой дворянин, начинавший свою чиновничью карьеру в 1810-х гг. [Свербеев 1899: 280]. См. также рассказ Жихарева о том, как он впервые увидел императора в декабре 1806 г. на Дворцовой набережной [Жихарев 1934 (1): 362].

до двадцатых годов XIX в. посещение гуляний считается приличным для представителей элиты [Некрылова 1988: 192–193]. Гораздо менее ясным представляется то, как истолковывалась подобная социальная открытость. Как подачка порабощенному населению, пустой жест «демократизма»? Как знак органического единства русского общества — несмотря на все барьеры, воздвигнутые на пути социальной мобильности? Или же гулянье на самом деле демонстрировало статусные различия русского общества, превращая их в зрелище? Было ли оно возможностью для богатых петербуржцев показать себя друг перед другом, а для менее состоятельных — присоединиться к их числу?

Жихарев посетил свое первое московское гулянье в апреле 1805 г. Даже будучи впечатлительным семнадцатилетним молодым человеком, он вынес зрелищу жесткий приговор, утверждая, что заметил всеобщее *«желание блеснуть и возбудить в других зависть своим достатком или вкусом»*. Он привел мнение более опытного наблюдателя, утверждавшего, что *«всякий коренной москвич обязан быть на известных гуляньях во избежание заключений о нем»* [Жихарев 1934 (1): 90]. Гулянье первого мая в Сокольниках, тем не менее, привело Жихарева в восторг. «Народная» часть толпы не казалась ни угрозой, ни неудобством, являясь неотъемлемой частью зрелища, которым наслаждались наряду с более изысканными развлечениями. Жихарев наблюдал петушиные и кулачные бои, посетив при этом и шатры, установленные специально для важных персон. Более того, некоторые развлечения предназначались для зрителей всех чинов и состояний: и дворяне, и простолюдины с удовольствием глазели на кавалькаду графа Орлова [Там же: 100–102].

Возбуждение, однако, уходило вместе с чувством новизны. На следующий год (и в дальнейшем, когда он посещал их в Петербурге) подобные развлечения производили на Жихарева не столь сильное впечатление. Это говорит о том, что к восемнадцати годам у него возникло чувство пресыщения, или, что более вероятно, привлекательность гулянья имела свои пределы для дворян с хорошими связями, у которых было множество других приятных и интересных способов провести время. Наблюдавшие гулянья представители высшего класса в начале XIX в. в целом разделяли мысль о том, что эти празднества свидетельствовали о гармоничных отношениях между разными сословиями русского общества, о своего рода демократии в ситуации деспотизма.

Между тем в первой трети XIX в. идет неуклонный спад активного участия и культурной вовлеченности элиты в гуля-

нья¹. Однако рассматривать это как простую утрату интереса со стороны образованного общества значило бы недооценивать сложность и двусмысленность процесса перехода от одной культуры досуга к другой. Различие между народным массовым празднеством и степенной городской *прогулкой* в компании социально равных не всегда было просто понять тем людям, которые помнили аристократические развлечения конца XVIII — начала XIX вв.

Человеком, жившим в эпоху перехода от *гулянья* к *прогулке*, был Пушкин. Он провел большую часть 1820-х гг. в южной ссылке, а затем в своем имении Михайловском, т.е. вдали от столичных развлечений. В письмах Пушкин часто останавливается, с сожалением или иронией, на различиях между праздной жизнью в поместье и захватывающими социальными возможностями, которые предоставляют большие города. Когда наконец в сентябре 1826 г. он вернулся в Москву, то признался, что уже через неделю устал от интенсивной социальной жизни. Предвкушая грядущее *гулянье*, Пушкин высказался о нем в письме к П.А. Осиповой со снисходительностью остроумного аристократа, по-французски, на языке, наиболее подходящем для выражения подобных чувств: «*Aujourd'hui, 15 Septembre nous avons la grande fête populaire; il y aura trois verstes de tables dressées au Девичье поле; les pâtés ont été fournis à la sajenъ comme si c'était du bois; comme il y a quelques semaines [sic] que ces pâtés sont cuits, on aura de la peine à les avaler et les digérer, mais le respectable public aura des fontaines de vin pour les humecter*»² [Пушкин 1958: 212]. Пушкин смотрит на данное событие как на публичное празднество в величественном старом стиле — тщательно срежиссированное действие, где простолюдины знают свое место и, довольные, жуют сухие пироги, в то время как франты предаются своим развлечениям. Тем не менее позже, в Петербурге, он оказался вовлеченным в совершенно иную культуру городского публичного поведения, центром которой стала *прогулка*, а не *гулянье*³. В городе, который Пушкин знал

¹ Несомненно, сходные процессы имели место и в «народе». У простого народа, который отнюдь не был потребителем подачек, состоящих из хлеба и зрелищ, появлялась новая коммерциализированная городская массовая культура, которая точно соответствовала ценностям и вкусам низших классов. См., например, [Kelly 1990].

² «Сегодня, 15 сент., у нас большой народный праздник; версты на три расставлено столов на Девичьем Поле; пироги заготовлены саженьями, как дрова; так как пироги эти испечены уже несколько недель назад, то будет трудно их съесть и переварить их, но у почтенной публики будут фонтаны вина, чтобы их смочить» [Пушкин 1958: 792]

³ Как становится очевидным, например, из подробных биографических исследований С.Л. Абрамович. «Гуляющий Пушкин» зафиксирован в мемуарах; см. [Колмаков 1891: 665]. Тот же источник сообщает, что злейший литературный враг поэта Фаддей Булгарин ежедневно появлялся на Невском проспекте, что демонстрирует странную разнородность гулявшей публики.

в 1830-е гг., социальные взаимодействия начинают регулироваться более широко распространенным и, следовательно, более «демократическим» чувством приличий, что, в свою очередь, требовало ресинхронизации. В отличие от пушкинского Онегина, возвращающегося с бала, когда торговцы пробуждаются ото сна, многие представители петербургского общества должны были утром отправляться в присутствие. Они могли собираться компаниями в своих квартирах или общаться маленьким, более домашним кругом вместо того, чтобы посещать знатные дома. Сборы у кого-нибудь на дому выделялись на фоне повседневного существования, с одной стороны, и публичных развлечений — с другой, в качестве культурного досуга, требующего от участников иного типа вовлеченности. Как и в «буржуазной» Западной Европе, этой цели служило музицирование. Николай I, известный как вдохновитель петербургского культа домашности, лично участвовал в музыкальных *soirées* в Зимнем Дворце. О широком распространении музицирования свидетельствует значительное увеличение производства пианино и нот в начале XIX в. [Stites 1998]. Салон и бал уступали место гостиной и «кружку».

Таким образом, нормы повседневной жизни в городе менялись так, что «свободное» время приобретало новый смысл. Тем не менее наиболее длительные периоды времени, свободного от служебных обязанностей, порождались не повседневной рутинной, но сменой времен года: летом из больших городов уезжали те, кому было куда поехать. В обычае благородных служителей государства было отправляться в свои имения (часто в связи с необходимостью позаботиться о доходах — дабы позволить себе новую встречу с городом), в то время как особо состоятельные представители элиты могли путешествовать за границей. Однако подобные поступки являлись обыденными и не становились предметом особой рефлексии. Их, конечно, нельзя считать периодами «досуга»: отчасти потому, что во многих случаях отсутствовал какой-либо труд в городе, компенсацией которого они являлись, а отчасти потому, что деревенские обязанности помещика нередко были гораздо более обременительными, чем городские.

В первой половине XIX в. к деревенскому имению и Западной Европе прибавились другие места, которые в большей степени заставляли петербуржцев считать лето периодом свободного времени и досуга. Одним из них стали «воды» (минеральные источники). Так, например, летом 1805 г. Жихарев поехал в Липецк, где он сразу же отметил, что собственно больных не так уж много, несмотря на то, что каждый заявлял, будто приехал на воды по соображениям здоровья. Вместо этого Жихарев обнаружил целый ряд возможностей для веселой

социальной жизни (включавших и *parties de plaisir*) вместе с некоторым количеством иных приятных развлечений (таких как охота). Курорт в Липецке был создан в начале XIX в. по соображениям национального престижа: в эпоху, когда «ездить на воды» стало для европейской аристократии одним из наиболее модных способов проводить время, Россия весьма нуждалась в своем собственном курорте, особенно если принять во внимание, что доступ в Западную Европу был значительно осложнен из-за наполеоновских войн и их последствий. В самые ранние годы, когда там оказался Жихарев, Липецк находился под патронажем дворянской элиты: в начале 1820-х гг. на каждого приезжающего приходилось в среднем по три-четыре человека obsługi [Историко-статистический очерк 1870: 2]. Посещение минеральных вод являлось в той же степени лечением, сколь и приятным и непринужденным общением с себе подобными.

Другой возможностью был морской курорт. В 1834 г. Сафонович по совету докторов отвез свою жену в Ревель. Его мотивы, однако, не были исключительно медицинскими. Он считал, что жить в городе летом — *«почти невыносимо»* из-за отсутствия общества или развлечений [Сафонович 1903: 362]. В Ревеле он рассчитывал отдохнуть и найти полную перемену обстановки: не жару и пыль, а свежий воздух и морские купания. По крайней мере в том, что касается последнего, он не остался разочарованным: по его признанию, обстановка была восхитительной, а жилищные условия совсем недурными. Проблема Ревеля заключалась в других приезжих. Сафонович обнаружил, что значительная часть состоятельного петербургского общества переехала на лето в Ревель, так что он не мог уклониться от обязанностей светского общения, которое считал тягостным (и дорогим). А кроме того, он должен был терпеть множество представителей ревельской публики, не принадлежавшей к подлинной социальной элите и поэтому назойливо предпринимавшей попытки произвести впечатление.

Негативная оценка могла быть, конечно, продиктована социальными проблемами самого Сафоновича. Наиболее существенными для целей данного исследования представляется факт появления мест, подобных ревельскому курорту, а также их значение для возникновения идеи «досуга» в русской культуре того времени. Досуг не является тем концептом, который прививается на любой почве абсолютно непроблематичным образом. При самом своем зарождении данная идея нуждается в таких оправданиях, как здоровье, социальный смысл или респектабельность. Лишь позднее она может без зазрения совести ассоциироваться с удовольствием и релаксацией. Как и в Западной Европе, курорт в России кажется играющим

важную, осевую роль в процессе перехода от аристократической летней поездки к чему-то, напоминающему буржуазный летний отпуск¹.

И в городе, и вне города возникновение особого смысла свободного времени зависит от появления новых мест, предназначенных для проведения досуга. Воды и курорты были не единственными местами такого рода, возникшими в первой половине XIX в.: в это время существовало множество новых пространств досуга, расположенных гораздо ближе к городу и поэтому более доступных для большего количества горожан. Уже в 1801 г., как отметил Ф.Ф. Вигель, летний отъезд на дачу становится ритуалом для богатых петербуржцев, таких как его начальники по службе. Сходные высказывания возникают периодически в воспоминаниях о 1810–1820-х гг., а в 1830-х их количество возрастает лавинообразно. В эти годы число петербуржцев-дворян увеличивается, однако феномен дачи также становится социально более эластичным (чтобы превратиться в элемент жизни большего числа купцов, разночинцев и чиновников невысокого ранга).

Параллельно распространению обычая ездить на дачу возникают новые публичные места проведения досуга. В ряде случаев ими становились бывшие аристократические увеселительные сады, превращенные в коммерческие предприятия, доступные и привлекательные для более широких групп людей, принадлежащих к средним слоям. Другим горячо обсуждавшимся новшеством стал концертный зал в Павловском «воксале»² (открытом в 1837 г.). В результате, в чем сходились все наблюдатели, в Петербурге в 1830–1840-х гг. возникает новая культура публичных развлечений. Безусловно, лучшим источником для изучения данного феномена является газета «Северная пчела», чьи регулярные публикации о петербургском «летнем сезоне» подтверждали — а отчасти и конструировали — существование некоего слоя, напоминающего средний класс, обладающего временем и свободой выбирать новые способы траты этого времени, а также удобной возможностью создавать новые типы социальной лояльности. Ведущий автор газеты Фаддей Булгарин написал в 1837 г. статью, в которой приветствовал дачу в качестве свидетельства решительного ухода от феодализма и отсталости к стабильности, процвета-

¹ О ситуации в Западной Европе см. [Corbin 1995; Маскаман 1998].

² Слово «вокзал» восходит к английскому Vauxhall, названию места увеселений в пригороде Лондона. В русском языке это слово укрепилось в современном значении именно благодаря Павловскому «вокзалу», одновременно выполнявшему функции вокзала и в течение длительного времени — концертного зала (см., например, стих. О. Мандельштама «Концерт на вокзале»). — *Прим. пер.*

нию и цивилизованной культуре «среднего класса» [Булгарин 1837: 703]. В 1840-х гг. Булгарин писал или руководил созданием почти ежедневных хроник расширявшегося круга городских развлечений, подтверждавших его мысль.

Интересным контрапунктом булгаринской журналистике в «Северной пчеле» является знаменитая статья его заклятого идеологического противника Белинского «Петербург и Москва», написанная в 1844 г. Здесь старая русская столица с ее неспешной социальной жизнью, центром которой являлась семья, противопоставлялась безжалостному ритму жизни в новой столице. Различие, как отмечал Белинский, было очевидно даже поверхностному взгляду: московские улицы пусты к десяти вечера, тогда как петербургские остаются заполненными пешеходами до гораздо более позднего часа. Петербург обладает несравненно более развитой культурой публичных развлечений¹. Интенсивно посещаются кафе, театры, увеселительные сады и множество других мест досуга; петербуржец сделал своей обязанностью интересоваться тем, какие имеются развлечения; он может себе это позволить благодаря широкому распространению газет со свежими объявлениями и развитию городских коммуникаций (петербургская почтовая служба, например, функционирует гораздо лучше московской). Однако все это не превращает петербуржца в беззаботного искателя удовольствий. Петербуржец обладает гораздо более целенаправленным и метрономным чувством времени, чем москвич. Отправляясь на очередное мероприятие или развлечение, он делает это *«с озабоченным видом, как будто боясь опоздать или потерять дорогое время»*. Он *«петербургский житель»* *«успевает везде и как работает, так и наслаждается торопливо, часто поглядывая на часы, как будто боясь, что у него не хватит времени»* [Белинский 1955: 408–409].

От двух наших наблюдателей — Булгарина и Белинского — можно было бы ожидать несогласия во всем, и тем не менее они сходятся в одном важном пункте: к концу 1830-х или к началу 1840-х гг. в Петербурге появилась отчетливо различимая культура досуга, а петербургская образованная публика начала осознавать, что такое «свободное» время, и использовать это время, посещая (т.е., платя за) целый ряд публичных развлечений. Конечно, оба наших наблюдателя разнятся в

¹ В написанной чуть позже статье «Александринский театр» (1845) Белинский развивает свою мысль на театральном материале. С его точки зрения, в Москве отсутствует такое явление, как «публика»: в московские театры *«стекаются люди разных сословий, разной степени образованности, разных вкусов и потребностей»*. Напротив, публика Александринки состоит *«из служащего народа известного разряда»*; здесь отсутствует вкусовое многообразие, представленное московскими театрами [Белинский 1955: 534–536].

своих оценках данного явления. Для Булгарина появление буржуазной публики, обладающей свободным временем, является желанным подтверждением того, что Россия прокладывает свой путь к цивилизации под началом просвещенного и доброжелательного абсолютизма. Позиция Белинского гораздо более двойственна. Тот факт, что Булгарин и Белинский согласны в том, что публичные развлечения достойны внимания, свидетельствует: Петербург, предоставляя огромному числу своих образованных обитателей официальное занятие, наделял их свободным временем и досугом.

Важные различия заметны и в деталях. Белинский представляет Петербург и Москву в качестве двух полюсов; в этом противопоставлении Петербург неизбежно воплощает холодность, анонимность, рациональность, линейность в пространстве и времени. Булгарин в статье о дачах высказывает целый ряд оговорок относительно позитивности такого явления, как отъезд за город: дача отрывает слишком большое количество людей от их занятий на протяжении слишком многих месяцев, замедляет темп городской экономики, делает менее эффективной бюрократию и противоречит трудовой этике, для прививки которой недавно прибывшему чиновничьему населению столько сделал Петербург. Булгарин, величайший журналист своего времени, являлся, несомненно, более острым наблюдателем. Он понимал с немалой проницательностью, что в качестве контрапункта метрономному биению современной городской жизни выступал целый ряд не столь безжалостных ритмов. С тех пор это так и осталось — вопреки любым буржуазным трудовым этическим предписаниям и несмотря на всевозможные модернистские фантазии и опасения.

Заключение

О чем может рассказать нам свободное время?

Теперь мне хотелось бы задать самому себе самый страшный для научного исследования вопрос: ну и что? Если петербуржцы начала XIX в. или рабочие на канатчиковской фабрике осмыслили свое время способами, непростыми для нашего понимания, какие выводы мы можем сделать о мире, в котором они жили? Многие историки труда, что совершенно понятно, интересовались связью досуга с мобилизацией и осознанием той или иной группой общности своих социополитических интересов на основе общности рекреационных практик. Очень часто доступные нам источники подсказывают подобный подход, выказывая опасения относительно рекреационных привычек низших классов и предлагая схемы контроля над подобными привычками. И тем не менее опасно придавать досугу слишком большое политическое значение.

Гарет Стедман Джонс особенно резко критиковал попытки вычитывать слишком многое из практик досуга у рабочих. Он особо выступал против небрежно используемого понятия досуга как инструмента «социального контроля», отмечая, что *«данное словосочетание не содержит никаких указаний на то, кем могут быть исполнители или инициаторы социального контроля, каков общий механизм, посредством которого он осуществляется, что представляет собой устойчивый критерий, на основании которого мы можем судить о том, не дала ли машина социального контроля сбой»* [Jones 1983: 80]. Вопрос о том, является ли досуг результатом «промывки мозгов» или освоением, не подводит нас к сути дела: причины политических следствий обычно лежат в иной плоскости. Более настоящей проблемой является вопрос о том, что означало свободное время для людей и каким образом оно может помочь нам в анализе и сопоставлении исторического развития разных обществ.

Рассуждая исторически, возникновение досуга в современном понимании можно рассматривать как движение по таким социальным, культурным и экономическим траекториям, которые делали неизбежным столкновение между двумя группами людей: теми, кто работают в поте лица своего и чьей привычной ситуацией является труд, и теми, кто вообще не считают себя работающими. Возникновение современного государства заставляет неработающих продавать свой умственный труд или социальный капитал; индустриализация толкает трудящихся на продажу своего физического труда. Постепенно обе группы начинают выстраивать различия между рабочим и нерабочим временем и соответственно менять свои привычки и ценности.

Конечно, это написанное лишь в общих чертах полотно нуждается в том, чтобы его наполнили бесчисленными фоновыми деталями. Ни одна из этих групп не порывает отчетливо со старыми привычками. В случае с не работающими физически многое зависит от отношений между аристократией, бюрократией и классом предпринимателей. Равным образом, крестьяне не превращаются автоматически в рабочих, когда попадают на фабрику или в большой город: насколько быстро и окончательно они осуществляют этот переход, зависит в значительной степени от того, когда и как осуществляется индустриализация. Несмотря на все глубокие различия в социальном положении и возможностях, ни для крестьянина, ставшего пролетарием, ни для аристократа, ставшего бюрократом, идея досуга не была простой для понимания. В XIX в. обе группы столкнулись с новыми способами измерения своего времени, на которые они не могли не обращать внимания. Когда на канатчиковской фабрике звучал гудок, идущие по

Невскому проспекту чиновники останавливались, чтобы сверить часы¹. Перевернутая структура данной статьи нацелена на то, чтобы подчеркнуть этот момент общности. При разговоре о досуге, развлечениях и удовольствиях стало определенной тенденцией прибегать к структурирующей оппозиции между буржуазией, убежденной в своей правоте, и населением, сохраняющим «иррациональные типы досуга». Между тем ценности и практики являлись гораздо более текучими и интерактивными, чем предполагает данная схема².

Текущее, однако, не означает полной неопределенности. В русской истории существует несколько социальных групп и типов идентичности, границы, ценности и ритуалы которых остаются едва ли понятными. В особенности ждут своего исследователя «белые воротнички» (*чиновники* в царский период, *служащие* — в советский), торговцы и специалисты. Не исключено, например, что степень причастности к среднему классу в дореволюционном Петербурге может стать предметом микроисторического анализа: о принадлежности человека к тому или иному городскому сообществу можно судить по тем типам общения, в которые он вовлечен, тем тратам на вещи, лишённые жизненной необходимости, на которые он с удовольствием идет, артефактам, которые приобретает и экспонирует, местам, которые посещает. Если говорить о конкретном исследовательском материале, отметим, что большевистские описи домашнего имущества и конфискационные ордера могут интерпретироваться не только с точки зрения того, что они говорят о патологиях раннего советского режима, но и того, что они сообщают о добольшевистской социальной истории³.

Есть и вторая, связанная с первой, причина, почему я начал с Канатчикова, а затем ушел назад, к чиновникам начала XIX в.: если вы хотите понять, что такое досуг, вам следует изучить историю того, как люди осмысливали труд, восстановление сил, а также различные иные типы деятельности и как, соответственно, они делили свое время. То, что вы обнаруживаете, оказывается отнюдь не плавным переходом от труда к досугу, а сложным взаимодействием между различными переживаниями времени.

С точки зрения исторической социологии, «досуг» является

¹ Практика, упоминаемая в [Светлов 1998: 43].

² Что касается буржуазии XIX в., существует заслуживающий внимания конфликт между трудовой этикой и стремлением вознаградить себя через потребление. Ср. также целый ряд особенностей, присущих буржуазной амбивалентности, описанных в работах Питера Гея.

³ Первый подход представлен в [Лебина 2000]. Интересное приложение другого подхода к иному историческому материалу — [Auslander 2002].

нормативным концептом, связанным с социальным развитием Западной Европы и Северной Америки. Он зависит от различий между работой и неработой, которые становятся исключительно значимыми в эпоху английского промышленного урбанизма. Очевидно, однако, что досуг не вписывается с легкостью даже в западные общества. Если, например, образованные русские первой половины XIX в. считали свой труд менее серьезной вещью, чем мы — наши собственные профессиональные занятия, то это еще не говорит об уникальности России. Сэр Чарльз Тревелиян, аргументируя необходимость реформы английской гражданской службы в начале 1850-х гг., отметил, что на этой службе находится непропорционально много аристократов с ограниченными способностями, что она стала прибежищем для *«некомпетентных, как правило праздных, плохо образованных и больных»* [цит. по: O'Boyle 1970: 482]. Равным образом, крестьяне отнюдь не без проблем становились французами (или англичанами, или рабочими), обладающими четким пониманием своего права на развлечения после трудового дня. Не является сам по себе примечательным и факт борьбы относительно смысла досуга между классом образованных и рабочим классом. В этом Россия не отличается от Англии, Франции или Германии. Не следует сводить проблему досуга к противопоставлению скучной интеллигенции и любящего развлечения народа.

Однако даже в этом случае досуг является в первую очередь западноевропейским и североамериканским занятием, чье распространение в остальном мире кажется запоздалым и частичным¹. Если мерить западными мерками, Россия на самом деле выглядит по-иному в целом ряде важных аспектов. Если мы обратимся к русским городам, проходившим процесс модернизации, мы обнаружим множество людей, не обладавших достаточно отчетливым профессиональным самосознанием или пониманием связи между временем и деньгами, чтобы быть в состоянии концептуализировать автономную сферу досуга. Занимавшие видное место в обществе, громко заявлявшие о своей позиции группы, принадлежавшие к интеллектуальной элите, — от религиозных консерваторов до марксистов — были враждебно настроены по отношению к институционализации деления на труд и свободное время. Колоссальная поляриза-

¹ См. интригующее сравнительное исследование [Linhart, Frühstück 1998]. В Японии сопротивление западным представлениям об отдыхе превращалось в дело защиты нации гораздо более отчетливо и в течение гораздо более длительного времени, чем в России. Существует занятное несовпадение между традиционными японскими категориями использования времени и импортированными занятиями вроде гольфа, бейсбола и хобби. Тем не менее широкое распространение западных норм проведения свободного времени начинается в Японии с 1960-х гг.

ция — больше, чем где бы то ни было в Европе, — между занимающимися физическим трудом и не занимающимися им означала, что в России существовало меньше возможностей для трудовой этики и этики досуга подпитывать друг друга. Среди множества других вещей революция принесла с собой стремление снять эту поляризацию, выстроив синтез, сделать труд и досуг полезными моментами жизни всего советского народа, загнав его в жестко регламентируемое среднее пространство. На поверку это обещание оказалось пустышкой: иерархии досуга и потребления возникли вновь, а время снова пошло с разной скоростью; одна часть населения опять обладала более высокими доходами и более широкими возможностями для того, чтобы интенсивно и разнообразно заполнять свое свободное время, тогда как другая была лишена этого. Тем не менее в долгосрочной перспективе, непредвиденным образом синтез действительно был осуществлен. Чтобы заполнить свободное время и наполнить смыслом существование, служащие позднесоветской эпохи в гораздо большей степени, чем средний класс на Западе, зависели не от досуга, а от привычных способов восстановления сил и «нетрудовых обязанностей». Более архаичные, традиционные формы проведения свободного времени доминировали над модерными.

История свободного времени в России могла бы помочь переосмотреть стандартный нарратив «возникновения досуга». Недостаточно понять, становились ли русские (особенно горожане) более похожими на современных жителей Запада, т.е. потребителями, требующими развлечений, выбора и свободного времени¹. Они могли осмыслять течение своей повседневной жизни иначе. И повседневность могла играть важную роль, прививая те или иные типы лояльности, создавая идентичности и устанавливая статусные различия. Убедительно показано, что Советская Россия, несмотря на устрашающий товарный дефицит, являлась обществом, в котором класс определялся отношениями не со средствами производства, а с потреблением [Fitzpatrick 1999: ch. 4]. Наверное, можно было

¹ В cultural studies повестку дня формировали исследователи, занимавшиеся обществами, где, если вспомнить уже приводившуюся цитату, «отдых вытеснил труд из центра социальной конструкции». Однако Россия еще не стала таким обществом. В свете этого предложенные в рамках cultural studies соображения на тему частичного торжества западных ценностей в постсоветской России кажутся не столь уж объясняющими суть дела [напр., Barker 1999]. Заслуживает также внимания и то, что в сборнике «Constructing Russian Culture», вышедшем под редакцией Келли и Шеперда, несмотря на толковую попытку прозондировать культурные границы, не ставится вопрос о различиях между работой и игрой, предоставляя читателю возможность полагать, что «культура» относится к игровой сфере. Более открыто высказывается Луиза Макрейнолдс [McReynolds 2003: 4–5], которая считает, что отдых является не только «главным основанием любой культуры», но несомненно обладает и политическим измерением.

бы рискнуть и сделать сходное предположение относительно советского использования времени: это было общество, публично заикленное на труде, где, однако, иные модусы деятельности оказывались более существенными в том, что касается социальных отношений.

История повседневности должна во многом помочь исследованию социальной сплоченности и социальных перемен. Однако у нее есть что рассказать нам об обществе в более широком смысле, а также о политике — и не только потому, что распределение времени часто становится вопросом (мнимого) социального контроля. Факт заключается в том, что занятия, которым предаются в свободное время, поддаются множеству интерпретаций. Эти занятия позволяют гражданам сходиться вместе в качестве свободно выбирающих индивидуумов (или, в конечном счете, готовых платить потребителей) и создавать новые сообщества. Свободное время может в немалой степени помочь обществу, государству или нации создать ментальный, воображаемый образ самих себя [Koshar 2002].

Поэтому я считаю, что свободное время является важной проблемой русской истории. Во всяком случае, к нему, как и к литературе, подходили как к явлению серьезному самому по себе. Вспомните те вещицы, которые были конфискованы у маркиза де Кюстина на петербургской таможне в 1839 г.: книги, пистолеты и — дорожные часы.

Библиография

- Александров Г.Н.* Очерки моей жизни // Русский архив. 1904. Т. 3. Вып. 12. С. 465–563.
- Афанасьев А.Н.* Народные русские сказки. М., 1985. Т. 3.
- Башуцкий А.П.* Панорама Санкт-Петербурга. Т. 3. СПб., 1834.
- Белинский В.Г.* Полное собрание сочинений. Т. 8. М., 1955; Т. 11. М., 1956.
- Булгарин Ф.* Дачи // Северная пчела. 1837. 9 авг.
- Вигель Ф.Ф.* Записки. М., 1928. Т. 1.
- Жихарев С.П.* Записки современника: В 2 т. М., 1934.
- Инсарский В.А.* Записки // Русская старина. 1894. Т. 81. С. 1–61.
- Историко-статистический очерк приездов на Минеральные Воды в Липецк // Липецкий летний листок. 1870. 14 июня.
- Канатчиков С.* Из истории моего бытия. М., 1932.
- Колмаков Н.М.* Очерки и воспоминания // Русская старина. 1891. Т. 70. С. 23–43, 449–469, 657–679.
- Лебина Н.* О пользе игры в бисер: Микроистория как метод изучения норм и аномалии советской повседневности 20–30-х годов // Нормы и ценности повседневной жизни: Становление соци-

алистического образа жизни в России, 1920–1930-е годы. СПб., 2000. С. 7–26.

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX вв.). СПб., 1999.

Марина М. В Петербурге 60-х годов прошлого столетия // Русская старина. 1914. Т. 157. С. 686–702.

Медведев П.В. Из дневника за 1854–1861 гг. // Московский архив: Историко-краеведческий альманах. М., 2000. Т. 2. С. 12–46.

Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII — начало XX вв. Л., 1988.

Писарькова Л.Ф. Московская городская дума: 1863–1917 гг. М., 1998.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. М., 1958. Т. 10.

Расторгуев Е.И. Прогулки по Невскому проспекту (1846) // Прогулки по Невскому проспекту в первой половине XIX в. / Ред. А. Конечный. СПб., 2002. С. 121–204.

Сафонович В.И. Воспоминания Валерьяна Ивановича Сафоновича // Русский архив. 1903. Вып. 1. С. 145–200.

Свербеев Д.Н. Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1799–1826). М., 1899. Т. 1.

Семенова Л.Н. Общественные развлечения в Петербурге в первой половине XVIII в. // Старый Петербург: Историко-этнографические исследования / Ред. Н.В. Юхнёва. Л., 1982. С. 147–163.

Светлов С.Ф. Петербургская жизнь в конце XIX столетия (в 1892 году) / Ред. А. Конечный. СПб., 1998.

Струмилин С.Г. Рабочий день и коммунизм. М., 1959.

Abrams L. Workers' Culture in Imperial Germany: Leisure and Recreation in the Rhineland and Westphalia. L., 1992.

Adorno T.W. 'Free Time' // The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. L., 1991. P. 162–170.

Anderson N. Work and Leisure. L., 1998.

Auslander L. «Jewish Taste?» Jews and the Aesthetics of Everyday Life in Paris and Berlin, 1920–1942 // Histories of Leisure. Oxford, 2002. P. 299–318.

Bailey P. Leisure and Class in Victorian England: Rational Recreation and the Contest for Control, 1830–1885. L., 1987.

Barker A. (Ed.). Consuming Russia: Popular Culture, Sex, and Society since Gorbachev. Durham, NC, 1999.

Bushnell J. Urban Leisure Culture in Post-Stalin Russia: Stability as a Social Problem? // Soviet Society and Culture: Essays in Honor of Vera S. Dunham. Boulder, 1988. P. 58–86.

Chase W., Siegelbaum L. Worktime and Industrialization in the USSR, 1917–1941 // Worktime and Industrialization: An International History / Ed. by G. Gross. Philadelphia, 1988. P. 183–216.

Christian D. Living Water: Vodka and Russian Society on the Eve of Emancipation. Oxford, 1990.

- Corbin A.* The Lure of the Sea: The Discovery of the Seaside in the Western World, 1750–1840. L., 1995.
- Cunningham H.* Leisure in the Industrial Revolution, c. 1780 — c. 1880. L., 1980.
- Dohrn-van Rossum G.* History of the Hour: Clocks and Modern Temporal Orders. Chicago, 1996.
- Fitzpatrick S.* Everyday Stalinism: Ordinary Life in Extraordinary Times. N.Y., 1999.
- Frierson C.A.* All Russia Is Burning: A Cultural History of Fire and Arson in Late Imperial Russia. Seattle, 2002.
- Garrloch D.* Neighbourhood and Community in Paris, 1740–1790. Cambridge, 1986.
- Garton Ash T.* The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe. L., 1999.
- Geldern J. von.* Life In-Between: Migration and Popular Culture in Late Imperial Russia // Russian Review. 1996. Vol. 55. P. 365–383.
- Gleason W.A.* The Leisure Ethic: Work and Play in American Literature, 1840–1940. Stanford, 1999.
- Gordon L., Klopov E.* Man After Work. Moscow, 1975.
- Grazia S. de.* Of Time, Work, and Leisure // The Emergence of Leisure / Ed. by M.R. Marrus. N.Y., 1974. P. 69–100.
- Hanson S.* Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions. Chapel Hill, 1997.
- Jones G.S.* Class Expression Versus Social Control? A Critique of Recent Trends in the Social History of «Leisure» // Languages of Class: Studies in English Working Class History, 1832–1982. Cambridge, 1983. P. 76–89.
- Kelly C.* Petrushka: The Russian Carnival Puppet Theatre. Cambridge, 1990.
- Kelly C.* Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to Yeltsin. Oxford, 2001.
- Kelly C., Shepherd D.* (Eds.). Constructing Russian Culture in the Age of Revolution: 1881–1940. Oxford, 1998.
- Koshar R.* (Ed.). Histories of Leisure. Oxford, 2002.
- Lincoln W.B.* The Daily Life of St Petersburg Officials in the Mid Nineteenth Century // Oxford Slavonic Papers 1975. Vol. 8. P. 82–100.
- Linhart S., Frühstück S.* (Eds.). The Culture of Japan as Seen through its Leisure. Albany, 1998.
- MacCannell D.* The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. Berkeley, 1999.
- Mackaman D.* Leisure Settings: Bourgeois Culture, Medicine, and the Spa in Modern France. Chicago, 1998.
- McReynolds L.* Russia at Play: Leisure Activities at the End of the Tsarist Era. Ithaca, 2003.
- Marrus M.R.* (Ed.). by The Emergence of Leisure. N.Y., 1974.

- Meller H.E.* Leisure and the Changing City, 1870–1914. L., 1976.
- Mironov B.* Work and Rest in the Peasant Economy of European Russia in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries // Labour and Leisure in Historical Perspective, Thirteenth to Twentieth Centuries / Ed. by I. Blanchard. Stuttgart, 1994. P. 55–64.
- Moskoff W.* Labour and Leisure in the Soviet Union: The Conflict between Public and Private Decision-Making in a Planned Economy. L., 1984.
- O'Boyle L.* The Problem of an Excess of Educated Men in Western Europe, 1800–1850 // Journal of Modern History. 1970. Vol. 42. P. 471–495.
- Phillips L.L.* The Bolsheviks and the Bottle: Drink and Worker Culture in St. Petersburg, 1900–1929. DeKalb, 2000.
- Pintner W.* The Social Characteristics of the Early Nineteenth-Century Russian Bureaucracy // Slavic Review. 1970. Vol. 29. P. 429–443.
- Pintner W.* The Evolution of Civil Officialdom, 1755–1855 // Russian Officialdom: The Bureaucratization of Russian Society from the Seventeenth to the Twentieth Century. Chapel Hill, 1988. P. 190–226.
- Schönle A.* Authenticity and Fiction in the Russian Literary Journey, 1790–1840. Cambridge, MA, 2000.
- Sebag Montefiore S.* Prince of Princes: The Life of Potemkin. L., 2000.
- Spacks P.M.* Boredom: The Literary History of a State of Mind. Chicago, 1998.
- Stites R.* The Domestic Muse: Music at Home in the Twilight of Serfdom // Intersections and Transpositions: Russian Music, Literature and Society / Ed. by A. Wachtel. Evanston, IL, 1998. P. 187–205.
- Swift E.A.* Popular Theater and Society in Tsarist Russia. Berkeley, 2002.
- Thomas K.* Work and Leisure in Pre-Industrial Society // Past and Present. 1964. Vol. 29. P. 50–62.
- Thompson E.P.* Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism // Past and Present. 1967. Vol. 38. P. 56–97.
- Thompson E.P.* The Making of the English Working Class (1963). L., 1991.
- Verdery K.* What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton, 1996.
- Walton J.K., Walvin J.* (Eds.). Leisure in Britain 1780–1939. Manchester, 1983.
- Whipp R.* 'A Time to Every Purpose': an Essay on Time and Work // The Historical Meanings of Work / Ed. by P. Joyce. Cambridge, 1987. P. 210–236.
- Young M.* The Metronomic Society: Natural Rhythms and Human Timetables. L., 1988.
- Zelnik R.* 'To the Unaccustomed Eye': Religion and Irreligion in the Experience of St. Petersburg Workers in the 1870s // Christianity and the Eastern Slavs / Ed. by R. Hughes, I. Paperno. Vol. 2. Russian Culture in Modern Times. Berkeley, 1994. P. 49–82.

Пер. с англ. яз. Аркадия Блюмбаума